

человека и масс, как в открытой книге, и соответственно тому, залезть в эту душу и подчинить ее своей воле; умение поразить воображение масс.

Но это не все: без счастья далеко не уйдешь даже и при необыкновенных способностях. Если он тысячи раз шел на гибель и не погиб; если шел на самые отчаянные предприятия и успевал, пока счастье не отвернулось от него, то отдавая должное и способностям, и их применению, все же нужно отделить долю шансов на счастье, и долго немалую. Почему одному везет, другому не везет? Тайна необъяснимая, если по поводу счастья даже Лаплас не нашел ничего сказать, кроме того, что если 5-франковая, например, монета падает чаще на орел, чем на решетку, то это заключается в ее конституции. Можно заметить одно, и, кажется, с большою долею вероятия, что, так как отвага, предприимчивость почти всегда увенчиваются счастьем, то все эти данные (т. е. отвага и счастье), вероятно, сродны между собою.

Наполеон был счастлив и безгранично веровал в свое счастье. В этом отношении у него были даже свои приметы, которые обыкновенно называются суеверием; но едва ли их можно так называть, если приметы подтверждаются фактами. Правильнее их назвать выводами сердца, для ума непостижимыми, и потому им осуждаемыми или отрицаемыми*.

<...>

Наполеон и Веллингтон**

(Полувоенный фельетон)

<Фрагменты>

1

Под этим заглавием, в журнале «Cosmopolis»*** за прошлый год появились заметки Прудона, найденные в его неизданных бумагах. Заметки носят, как и вообще все заметки, отрывочный характер; что бы из них вышло и даже вышло ли бы что-нибудь, никто этого не знает, но они попали в печать, значит можно поговорить о них, и о том, на какие они размышления наводят, особенно когда речь идет о такой фигуре, как Наполеон. Наши заметки по необходимости будут также отрывочны; желая сделать из них нечто цельное, пришлось бы выпустить многое такое, что нежелательно пропускать. <...>

* Мало ли что он отрицал, пока не оказывалось, что отрицал не понимая? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point...

** Эта статья была помещена в «Военном Сборнике» 1897 г., №№ 5 и 6.

*** «Cosmopolis» издается с прошлого года в Париже на английском, французском и немецком языках. С этого года, говорят, будет отдел и на русском. Журнал хороший.

2

Заметки начинаются записью мнений членов конвента, Барера и Куртуа, почерпнутых из разговоров с бельгийским профессором Альтмейером. По мнению Барера, революция была бесполезна, положение народа после нее стало хуже; конскрипция, полиция, налоги, война, централизация — все его приводило в ужас. Кто же был этот добродетельный муж? Адвокат по специальности. «Анакреон гильотины», как назвали его впоследствии за то, что он был официальным защитником и красноречивым апологетом самых жестоких революционных мер конвента. <...>

Так вот этот человек находил, что «Наполеон *ничего не стоил*. Его обаяние сделали итальянские кампании 1796 и 1800 годов (мало!) и заключенный мир. Хотели победы и мира — вот чего хотели. Он сделал вид, что даст их и изменил стране, обманув ее ожидания».

Мнение чисто адвокатское, эквилибристика на *да и нет*. Он и ничего не стоил, и выигрывал великие кампании. Хотели и победы, и мира. Но чтобы победить, нужно воевать? Что же до того, будто положение народа после революции стало хуже, то в этом, полагаю, лучший судья — сам народ; и если бы его спросить, то едва ли он согласился бы вернуться к дореволюционному положению. А каково оно было, известная заметка Ла-Брюйера показывает довольно ясно. Сам Прудон замечает дальше, что Барер кончил тем, что «не мог больше судить о событиях», тем не менее заносит его мнение о Наполеоне, высказанное именно тогда, когда он уже потерял смысл событий.

За Барером следует Куртуа, горячий сторонник переворота 18-го брюмера. Он присутствовал при перевороте в качестве члена «совета пятисот» и так описывает Бонапарта: малорослый, некрасивый, желтый, с плоскими волосами, грязный, он выдавался только своим бесстыдством и настолько сильным итальянским акцентом, что его нельзя было понять «*J'ai avec moi lou Diou de la guerra et de la fortiouna*»¹. Даже в 15 году он не научился говорить по-французски. В семье он всегда говорил по-итальянски.

Все это факты и против них ничего сказать нельзя, кроме того, конечно, что они, так сказать, к делу не относятся, а если и относятся, то говорят скорее в пользу, а не против Наполеона. Если, не взирая на неприглядную наружность, и на прочее, Наполеон подчинял себе всех тех, кто приходил с ним в соприкосновение, то было же в нем нечто иное кроме того, что отмечено Куртуа. А что до бесстыдства, то в таких переделах, как 18-го брюмера, не сделаешь много с девической застенчивостью; и то, что казалось человеку партии бесстыдством, на языке других было решительностью, дающей человеку силу идти на «пан или пропал». Каким Бонапарт был на войне, таким же явил

себя и в государственном перевороте; таким же, наконец, и в личных отношениях.

Если мадам Жюно д'Абрантес говорит, что его невозможно было уважать, то ведь он добивался от нее и от других дам неуважения, и получал то, чего добивался. Ни в каком деле он за двумя целями не гонялся; и пока до испанской кампании держался этого приема, до тех пор он всегда достигал своего.

В числе причин его непрерывных успехов, говорит Прудон, есть одна странная и заслуживающая быть отмеченной, это убеждение немцев в непобедимости французов. *Только бы мне удалось*, говорит Блюхер, *побить его один раз, и он погиб*. Совершенно верно; но нужно было уметь внушить эту нравственную мощь своим и подорвать ее у других, что дано далеко не всякому; даже больше — дано только людям исключительным.

Так было и так всегда будет со всеми великими носителями воли, и всеми ловцами людей перед Господом. Так было и с Фридрихом Великим. Давно ли, кажется, был 1763 год, когда французы бегали как зайцы перед пруссаками (Россбах)? Французы, да и не одни французы, тоже верили в его непобедимость. Но проходит всего 40 лет, и вместо Россбаха видим Иену и Ауэрштедт.

И Прудону, человеку по натуре волевому, странно было эту причину воинской доблести и успеха находить странной ибо в сущности это *единственная* их причина. Где она, там и победа, невзирая ни на что. Где ее нет, там поражение, тоже невзирая ни на что: ни на превосходную организацию, ни на материальное благоустройство, ни на самое совершенное вооружение. И кому дана сила внушить веру в непобедимость, тот победит, хотя бы он был менее всего военный: неопровержимее кого бы то ни было доказала это 18-летняя Иоанна Дарк.

Неведомо откуда Дух Божий приходит и куда уходит... Придет, наконец, время, когда человеческое слово, продукт ума, будет волею-неволею притянуто к выяснению волевых проявлений, и тогда восстанет эта сожженная страданица во всем недосыгаемом величии своей нравственной чистоты, нравственной силы и воинской доблести...

Как известно, Блюхер добился, наконец, того, что он победил. Наполеон, раздавая удары направо и налево, научил и других наносить удары. Воспользовавшись силой, вызванной революцией из скрытого состояния — силой национальности, Наполеон сам натолкнулся на нее: сперва в Испании, затем в России, а, наконец, и в Германии; результаты известны; они были страшны потому в особенности, что были следствием гоньбы за двумя целями в раз (Испания и Россия), т. е. изменою тому принципу, которого Наполеон так строго держался до 1809 года. И грустно становится, когда подумаешь, что, рассуждая о таких предметах, вспоминают, что Наполеон был неказист и дурно говорил по-французски... <...>

3

Заметки Прудона носят характер как бы дневника: тут и заметка о системе комплектования, и анекдот о том, как Наполеон, в 14-м или 15-м году, оратора от института, за намек о мире, прервал не совсем деликатным ударом сапога в то место, которое в подобных случаях всегда является страдательным; и упрек Тьеру, что он умолчал о таких чертах характера, которые, рисуя человека и его мнимый (faux) гений*, обнаруживают народную мистификацию (!).

На беду для рассуждения Прудона нельзя не заметить, что подобные вещи, как последний упрек, легко писать у себя в кабинете и в спокойном состоянии духа; но воображать, что можно помышлять о мире, когда окружен врагами, которые спали и видели уничтожить Наполеона уже столько лет, подобная фантазия, конечно, могла придти в голову только человеку исключительно умового типа**. Бесспорно, движение Наполеона было не «академическое»; но ведь и нежные намеки о мире в такую минуту тоже едва ли признает уместными тот, кто даст себе труд принять в соображение не один сюрприз почтенного члена института, но и нравственное положение, в котором Наполеон тогда находился. Человек так создан, что смешное положение жертвы заставляет его забывать положение обидчика, а между тем у этого последнего была своя обида; и на сердце кошки скребли посерьезнее неприятности быть остановленным в красноречивой предике «не академическим» жестом.

Что касается до «мнимого» гения, то об этом ниже. <...>

Прудон переходит к перечню по Тьеру физических и нравственных примет Наполеона. Думаю, что если бы у сего последнего на лице была бородавка, Прудон и ее не забыл бы. Нравственный облик выходит столь же некрасив, сколь и мало верен. Я думаю, нельзя найти сколько-нибудь выдающегося практического деятеля, которому нельзя было бы поставить в упрек того, в чем Прудон упрекает Наполеона. Все перечисленные слабости или, пожалуй пороки, были свойственны и нашему Петру Великому, и Фридриху II, и Цезарю, и Александру Великому. Все они имели, как говорят французы, достоинства своих недостатков и недостатки своих достоинств. Но к этому прибавляется еще, что Наполеон не имел никакого гения, что будто падал духом при поражении; что он не представлял никакого принципа, никому не служил, ничего сам не основал, ничего не сумел понять и толкнул Францию к неисправимому упадку, и физически, и духовно.

* Как будто гений и резкое движение несовместимы.

** По природе Прудон, как и вся мужичья масса, был человек волевой; но по роду занятий — умовой.

Это, что называется, решил отделать и отделал. Ему нужды нет до того, что Наполеон успокоил Францию от смут революции, что при нем создан кодекс, который в силе до сих пор, что он преследовал те же задачи, которые преследовала революция; что он упорядочил внутренний строй государства; что дальнейшее процветание Франции есть следствие режима, им установленного: нет, кроме зла он ничего не сделал!

«И философов тоже он не любил»; — да, не любил, ибо был практический деятель, волевой человек, а такие не любят говорунов, также, как и говоруны их не любят: дело взаимное. Он тоже не любил *blagologie**, как и Прудон.

«Писатель он был, правда, оригинальный, но только в своей солдатской сфере». С равным основанием Прудон мог бы поставить в упрек Гете, Дидро или Гюго, что ни один из них ничего не написал о военном деле.

«И его военный талант исходил от инстинкта и от обсуждения»**. То, что он называет инстинктом, есть врожденная способность; то, что обсуждением — опыт, просветленный работою ума, который тоже врожденная способность. Но желание принизить Наполеона наталкивает перо Прудона на инстинкт, который по принятой номенклатуре свойствен и животным; и он ставит это слово. «Никогда его манера вести войну не была ни известна, ни понята» — в том и было ее величие и залог поразительных успехов. Чтобы победить, нужно удивить. И никто не умел этого делать в таком совершенстве, как он. Зато он и признается бесспорно величайшим из военных гениев всех веков. Прудон, конечно, лучше бы сделал, если бы этого вопроса совсем не трогал; он, очевидно, не знал в нем даже элементарных понятий. Что же до понимания его манеры, то она была понята и, к несчастью для французов, даже слишком хорошо пруссаками. Вся теория Клаузевица есть не иное что, как изложение того, что Наполеон делал, и нашла она совсем толковых и последовательных учеников в лице соотчичей Клаузевица.

Устав, наконец, говорить по адресу Наполеона всякие неприятности (и чудовище-то он, и лишен нравственного чувства, и лгун, и шарлатан, и пр., и пр.), Прудон признал, однако, что «обаяние, преданность, которые этот человек внушал до последней минуты, заставляют признать что-нибудь одно: или он не настолько виноват, как явствует из совершенно достоверных мемуаров, или *имел сообщниками целую нацию*». <...>

Нация хотела сильной власти, и Наполеон дал ее. Он понимал массу и то, что с нею можно делать что угодно, но на условии — удовлетворить всем ее затаенным инстинктам и вожделениям, иногда тем более сильным, чем меньше они высказываются, и с которыми то, что высказывается, зачастую

* От *blague* — вранье, болтовня.

** Любопытно бы знать, от чего должен исходить истинный военный талант, по мнению Прудона?

находится даже в прямом противоречии. Ибо высказывают-то интеллигенты, а *хотят* массы, а первые редко хотят того, чего хотят последние.

Продолжая далее характеризовать французов, Прудон говорит: «Нация, стремящаяся всегда *вперед*, не умеющая ни *отступить*, ни *ограничивать* себя; когда приходит беда, она деморализуется, бросает все».

Игра на антитезах увлекает в этом случае Прудона до забвения действительности. Все, что человеческая натура могла вынести, французский солдат вынес; а затем, есть же предел всему. Нельзя находить отсутствие стойкости в нации (да и в Наполеоне), которая после 12-го вынесла 13-й, 14-й и, наконец, 15-й года.

«Она не умеет себя ограничивать». Это можно было сказать, только забыв, что если бы французы не наступали, то на них наступали бы: так было до Наполеона, так было и при нем, — это наследие революции. Она и рада бы себя ограничить, да ее не оставили бы в покое. Наполеон это прекрасно понимал и выразил: «Если я перестану воевать, я погиб». А что он предпочитал наступательную войну оборонительной, то, ведь, это обнаруживает в нем только понимание той военной истины, что наступать всегда выгоднее, чем обороняться, особенно когда видишь положение яснее, чем противник. До 13-го года, Наполеон, в видах политической обороны, наступал на театрах войны; а с 13-го, даже поставленный в оборонительное положение в военной сфере собственно, он все же наступал постоянно до последней минуты.

Затем следует упрек французам в поспешности объяснять поражения самыми смешными причинами, например, изменою. Не так смешна эта причина, как выставляет Прудон в своем, бессознательном, надеюсь, стремлении охаять и своих соотчичей, и Наполеона. В народе, взбаламученном революцией, возникает характерное настроение — никто никому не верит. Да и как было верить, когда подобные эпохи выдвигают на сцену людей, которые, как говорится, не верят ни в Бога, ни в черта? <...>

Могут, правда, возразить, что всякие Талейраны, Фуше и *tutti quanti*² армии не были известны; но такое возражение возможно только со стороны людей, которые не понимают духа масс и тех незримых токов, которые их пронизывают: масса не знает, она чувствует; ей не нужно знать конкретных случаев измены; но когда измена существует, хотя бы и в сферах, массе недоступных, то масса так или иначе будет ее предчувствовать, а предчувствие хуже знания, как и все неопределенное. Конечно, она не могла знать всех подвигов таких артистов, как Талейран, Фуше; но сплетни, лакейские разговоры не могли не распространяться вниз и, разумеется, доходили по адресу, да еще с прикрасами. Да и как было не доходить, когда за все время Наполеоновского режима воздух, можно сказать, был насыщен изменой? До чего это насыщение было велико, доказывает полуудавшийся заговор Малле в 12-м году, адская

машина в период консульства, заговоры роялистов, у которых существовало даже на этот предмет агентство в самом Париже. Наконец, сам Прудон рассказывает по слухам, имеющим, однако, долю вероятия, что при церемонии коронования четыре гвардейских гренадера, стоявшие по углам алтаря, должны были расстрелять Наполеона в момент принятия им короны из рук Папы; что этот заговор был открыт и их своевременно убрали. Может быть, это и выдумка; но она показывает современное настроение умов. Прибегая к известной метафоре, без всякого преувеличения можно сказать, что в течение всего своего царствования Наполеон плясал на вулкане. В такой горячечной атмосфере не нужно быть очень легковерным, чтобы везде видеть измену, и ему, и армии, которая в свою очередь тоже не была свободна от язвы заговоров. Не так уже значит было смешно объяснять неудачи изменой, как то Прудону кажется. Не говорю уже о том, что объяснять неудачи чем угодно, но только не собственной глупостью или трусостью, в натуре всех людей, а не одних французов.

Продолжая свои антитезы, Прудон говорит про Наполеона: «Вольтерианец и верующий, распущенный и чопорный, как французский народ; маккиавелический и честный, как французский народ; человеческий и кровожадный, бережливый и расточительный, как французский народ», т. е., значит, по нашему, стихийный, массовый человек; способный на великое добро именно потому, что он способен и на великое зло.

Что в этой параллели верно, то относится не к одному французскому, а ко всякому народу и ко всякому выдающемуся представителю народа; а что неверно, не относится ни к Наполеону, ни к французскому народу.

Неверно, например, то, будто Наполеон был вольтерианец; Бэйль, современник Наполеона и тонкий наблюдатель, характеризует его так: «ненавидел Вольтера, боялся якобинцев и питал слабость к С.-Жерменскому предместью». Да и каким образом он мог бы любить Вольтера, когда употреблял все усилия на то, чтобы облечь свою власть ореолом религиозного уважения и той авторитетности, которая, кроме преемственности по наследию, ничем не дается? Этим объясняется и конкордат, и установленный им всяческий церемониал, и строгий этикет, и слабость к С.-Жерменскому предместью. Он прекрасно понимал, чего ему не достает, когда выражал сожаление, что он не свой внук и делал все, от него зависящее, чтобы это недостающее восполнить. И этот человек власти и массы мог когда-нибудь быть вольтерианцем! Да он не только никогда не острил, но даже не знаю, смеялся ли когда-либо, и внимательно следил за литературой, а особенно, за театром, чтобы не проскользнуло чего-нибудь в роде Вольтеровского подхихикивания над устоями общественного строя: и появление пьес, в роде «Belle Hélène», как то случилось при его племяннике, в его правление было, конечно, немислимо. Не любил он даже Тацита, писателя, кажется,

довольно серьезного: почему — понятно; «может и правду писал, да про цезарей»: подрывал, мол, авторитет власти. Что в нем вольтеровского нашел Прудон, решительно недоумеваю.

Наполеон лично не только не был расточителен, но весьма бережлив; что до французского народа, то всякий, кто его знает сколько-нибудь, знает также, что он в высшей степени бережлив и что называется скопидом. Еще Маккиавели, человек высоко объективный и наблюдательный, сказал, что француз более скуп на свои деньги, чем на свою кровь (*plus avare de son argent que de son sang*). <...>

Прудон замечает, что республиканские добродетели держались только мгновение. Я полагаю, что они и мгновения не держались; все разглагольствования о цивизме шли не из сердца, а из головы, как реминисценция классической литературы; самая номенклатура властей была, как известно, взята римская: консулы, трибуны... А когда доходило до дела, то все эти республиканцы являлись теми же роялистами, только подеспотичнее. Сожалея об этой мимолетности республиканского духа, Прудон возвращается к любимой своей теме, что генералы не отличались монашеским поведением: «Гош — сладострастник, Пишегрю, Клебер, Дезе, Лефевр — развратники. А при атаке Эберсберга оказалось, насколько мало генералы Наполеона ценили жизнь солдата. Все было уже развращено. Возвращались к обычаям прежнего дворянства». Мы не знаем на что особенное намекает Прудон своим Эберсбергом; но знаем, что кто желает успеха на войне, тот не может, *не имеет права* щадить людей, ибо неудача обойдется дороже успеха, хотя бы даже и кровопролитного. Эта беспощадность есть, конечно, продукт революции, а не предшествующего режима; и, только благодаря ей, французы одолевали противников, которые не шли далее полумер и которые выходили на войну, а жертв боялись. Прудону, не истреблявшему для достижения своих целей ничего, кроме перьев, чернил и бумаги, все это казалось ужасным и жестоким, а что бы он сказал, если бы знал, что у французов одних офицеров выбыло из строя: под Эйлау — 706, под Ваграмом — 1659, под Бородиным — 2200. В том числе под Бородиным: маршал — 1, дивизионных — 11, бригадных — 23?

Не делаются эти дела на розовой воде; да и не могут делаться; ибо на войне целью является не уменьшение потерь, а победа, невзирая на потери. А кто хочет цели, должен мириться со средствами.

Может быть скажут, кому все это было нужно? Не знаю; но знаю то, что приходит минута, когда это должно сделать, и тогда не в силах человеческих это отворотить.

Вчитываясь в эту историю и размышляя о ней, Прудон говорит, что он отдал, наконец, себе отчет в характере, роли, возвышении и падении Наполеона.

«Он не понял идеи своего века (в чем, по мнению Прудона, эта идея заключается, он благоразумно умалчивает); он только разделял характер и страсти французов, их достоинства и недостатки. Этим он им нравился, их пленил; этим возвысился и погиб».

«Если бы при каждом своем решении он мог советоваться с массами, то был бы ими постоянно поддержан».

Что Наполеон не понял идеи своего века, как она представлялась Прудону, ничего удивительного нет; но что он, благодаря своей кровавой работе, мощно двинул европейскую жизнь вперед, это не подлежит ни малейшему сомнению. Он разбудил душу масс там, где она пребывала в вековом усыплении, и заставил ее сильно проявиться там, где она, хотя и не была подавлена, но и не особенно сильно себя проявляла; он положил начатки тому, что в солдате стали, наконец, подозревать человека, он добился того, что самые заскоруждые немецкие правительства стали входить в сношения с патриотическими тайными обществами, которые эти самые правительства стали изо всех сил душиить, как только Наполеоновский ураган пронесся; он добился того даже, что австрийский эрцгерцог, перед кампанией 1809 года, обратился к итальянцам с такой зажигательной прокламацией, что в пору хоть конвенту. Думаем, что это результат, который стоил жертвы в полтора миллиона голов, которую Наполеону ставят на счет. И до чего он велик, не трудно судить и по той бешеной реакции, какая началась после его падения везде, не исключая и Франции; и по тому трогательному единодушию, с каким правительства стали душиить те самые патриотические общества, с которыми так мило заигрывали, пока Наполеон не был повален. Нет, Наполеон лил кровь не даром и, благодаря этому, сделал немало! Реакция пришла и ушла. Брошенное зерно тщились придавить, но оно не пропало; и не прошло 30–40 лет, как проросло. И косвенно Прудон сам это признает, замечая далее, что «следует пожалеть Францию и Наполеона, вступивших на этот путь, но должно почтить его характер за то, что он претерпел до конца («*mais il faut honorer son caractère d'avoir persévéré*»). Как! а где же девалась его неспособность устоять на своем? Куда она девалась? Невольно вспомнишь того пророка, который вышел проклясть, а вместо того благословил.

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал*.

* Пушкин. «На смерть Наполеона».

<...>

Усиливаясь все более и более развенчать Наполеона, Прудон находит, что, воюя быстро, одерживая победы плохого (!) разбора, накопляя завоевания на завоевания, не переваривая ни одного, он должен был быстро прийти к катастрофе. Может, его победы и были плохого разбора, но подвертывавшимся под них приходилось так же солоно, как будто они были самого лучшего разбора. Но почему же победы его были плохого разбора? А потому, видите ли, что они были одерживаемы, благодаря обаянию, а не действительной силе! Одним словом, то, что составляет их величие в глазах людей, понимающих дело, в глазах Прудона обнаруживает их ничтожество. Непонимание ли это дела, или намеренное извращение его с целью привести рассуждение к желаемой цели, предоставляем судить читателю. Для Прудона победа хорошего сорта будет только тогда, когда ее одержит сильнейший числом. Нравственная сила для него в этих делах, по-видимому, не существует.

«Его (т. е. Наполеона) десятилетняя империя была не более как десятилетнее шарлатанство, не имевшее устойчивости ни одной минуты». Можно, конечно, смотреть и так. Может быть, это даже и остроумно, но к пониманию смысла событий ничего не прибавляет. С равным основанием можно, пожалуй, считать и все римское, например, владычество, тоже шарлатанством (только более продолжительным), так как оно тоже кончилось. А что до владычества Александра Македонского или Цезаря, то это уже выходит совсем шарлатанство, даже кратковременнее Наполеоновского.

Питт мог понимать, конечно, что все это призрачно, но ведь, представителям установившегося режима все новое кажется, призрачно, а Веллингтон, не во гнев будь сказано Прудону, ничего бы не доказал, кроме своей несостоятельности, не будь 12-го года. С ним, наверное, случилось бы тоже, что перед тем случилось с другим англичанином Моором, когда Наполеон сам был во главе армии в Испании. Случилось бы даже и под Ватерлоо, не подоспей на помощь пруссаки. Ведь известно, что к минуте появления их на поле сражения зады героя Веллингтона были уже в полном отступлении.

Да, империя Наполеона была недолговечна; но то, что Наполеон пронес с собой по Европе, осталось; и Прудону, как человеку идейному, не следовало бы этого забывать.

Конечно, поклонение Тьера чрезмерно и создавать себе кумиров не годится; но от этой чрезмерности перейти к прямо противоположной и утверждать, что Наполеон вел войну, как кровожадный зверь, более чем странно.

Верно и то, что человек не выдерживает богатства, власти, могущества и славы, что он неминуемо в таком положении развращается; но ведь и сам Прудон заключает, что это случается со всяким, следовательно, не может быть относимо особенно к Наполеону.